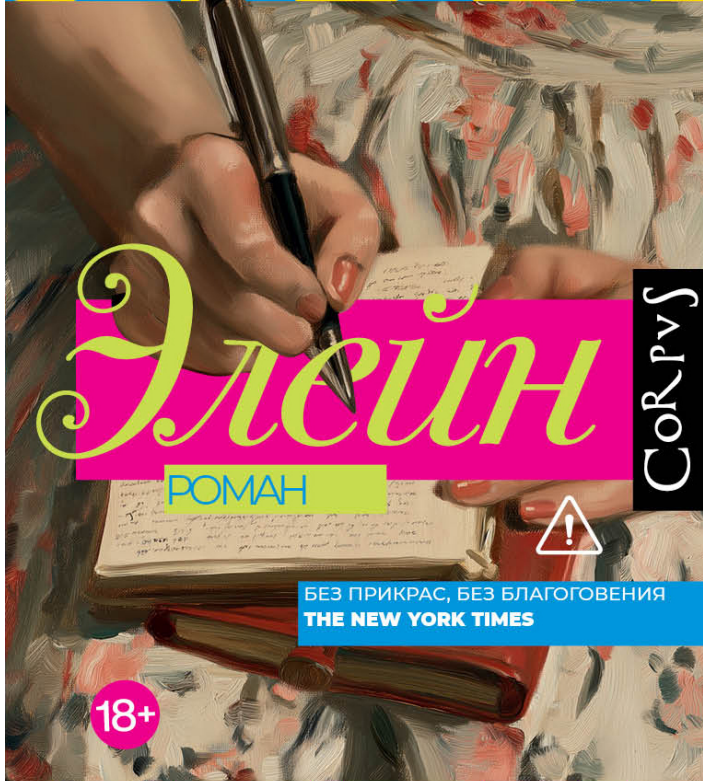


УИЛ



CoRpus

БЕЗ ПРИКРАС, БЕЗ БЛАГОГОВЕНИЯ
THE NEW YORK TIMES

18+

СЕЛФ

Уилл Селф Элейн

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74437206

Элейн:

ISBN 978-5-17-165321-7

Аннотация

Итака, штат Нью-Йорк, середина 1950-х. Элейн стоит у почтового ящика перед домом, думает о своих сыне и муже, преподавателе в престижном университете, и думает с тоской: “Неужели это всё?” Попытавшись раздвинуть жесткие рамки, ограничивающие ее существование, она пускается в гибельную для себя любовную историю, которая положит конец ее браку и разрушит ее жизнь. Роман Уилла Селфа основан на дневниках его матери, которые она вела сорок с лишним лет. Писатель пристально изучает внутренний мир Элейн, напрягает воображение, чтобы воссоздать картину ее жизни.

Содержание

1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Уилл Селф Элейн

Pour Nelly...

*Женщина, которая не может или не желает
сносить естественно и без жалоб условия ее
услужения, заслуживает того, что случилось со
мной.*

Запись из дневника Элейн, февраль 1956 года

© Will Self, 2024

© С. Карпов, перевод на русский язык, 2026

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет,
2026

© ООО “Издательство Аст”, 2026

Издательство CORPUS ®

1

Ноябрь 1955 года

Стоя на Хемлок-стрит, 1100, Элейн думает: вот я на дороге перед своим домом – нашим домом, что я каждый день с любовью обновляю для мужа и сына, которых я люблю... Но неужели это... все? Ее глаза поднимаются от коричневого конверта в руке к открытому почтовому ящику, откуда она его только что достала, – и опускаются обратно: Что толку открывать одно или закрывать другое, если оплачивать этот счет нечем – как и любой другой, что уже мчится за ним вслед.

Элейн не смеет поднять взгляд – но уже ближайшее окружение кажется ей мучительной бездной: пустой участок напротив дома *кишит зеленью* – зловещими волнениями. Шепчет что-то на бодрящем ветру провод над головой – длинный, провисший между столбами. За редкими кустами и отдельными деревьями уходит вниз склон, и там она скорее чувствует, чем видит, озеро.

Билли обожает рассказывать о глубине озера Каюга да сколько в нем миллионов литров пресной воды. Его матери не хочется это слышать – для нее оно просто холодное... *и бездонное*: Эгейское море, откуда ни одному Одиссею не вернуться в свою Итаку... *и к своей Пенелопе*. А наверху? Не

просто небо, а метафизическое царство, в котором падение мужчины переворачивается, чтобы стать... *взлетом женщины*. Она нащупывает через подошвы тапочек стыки между кирпичами, которыми вымощена дорога, – и призывает в памяти шелковистое касание речных песков в давних летних лагерях: *Шаг чеканит и поет, девчонка из “Кэмп файр”¹ вдаль иде-ет ...*

Если бы – если бы у нее были худые и гибкие пальцы ног, она бы надежно вцепилась ими в землю. Но таких нет – и она не может, и небо втягивает ее вверх: она чувствует, как изворачивается тело, когда она с помощью вскруженного разума уносится в стальные небеса.

Ты уже не играешь на детских площадках в облаках, упрекает она себя: ты не в Огайо – и даже не в Нью-Йорке и не в Вермонте, а похоронена заживо в пригороде на севере Нью-Йорка, откуда выход лишь один... *еще выше*.

Может, и домишко взлетит вместе с ней – вот эта деревянная камера, где она заточена. Камера миленькая, по крайней мере снаружи – но что в том проку? Цвета камеры не видно, если день-деньской сидишь в ней взаперти. И вдруг она взывает: И это все? Это, сука, все?!

Непристойность, думает Элейн, – это волосатая нога, которую муж сунул ей между ног в прошлый раз, когда хотел...

¹ *Camp Fire* (осн. 1910) – первая в США нерелигиозная организация для девочек, ее участники носят зеленые галстуки и занимаются всем тем же, чем бойскауты или пионеры: походы, общественные работы и т. д. *Здесь и далее прим. перев.*

взять меня. А потом держался за нее – хотя явно не для надежности, ведь надежности не найти в зыбучих песках ее несчастного бытия. *И это все?..* Более того, относится ли “это” все к одному и тому же предмету: ее жизни, полной того, что нужно протереть, обмахнуть и привести в порядок. Заплести, взбить и *дать?..*

Нет толку говорить об этом – но она все равно говорит, теперь вслух, и от полной пачки, выкуренной вчера, плюс четырех-пяти сигарет уже с утра голос ее – между хрипом и криком: Неужели... пик успеха... для меня... это выполнять работу... домохозяйки?

Ее слова – уже *сырые и серые* – воспаряют в осеннее небо. В этот самый миг к своему почтовому ящику выходит Эвелин Тейт, которая проживает в пятидесяти ярдах дальше по улице и которую – безо всяких на то оснований, не считая того, что она крашеная блондинка и носит такие блузки, – Элейн считает за распущенную. Та открывает ящик и достает манильский конверт с прозрачным окошком: ...*ее собственный просроченный счет*, – потом чуть склоняется в сторону Элейн, бледные губы складываются в форму, которая ассоциируется со словом *привет*.

Очевидно, меня она не слышала.

И тогда Элейн повторяет: Неужели... пик успеха для меня... это выполнять... в-выполнять... работу д-домохозяйки?

Истерика нарастает – и, когда хлопает сетчатая дверь в доме Эвелин Тейт, Элейн повторяет в третий раз: Нежели... пик успеха... для меня... это выполнять свою работу домохозяйки? Каждый отрывок отделен тяжелым вздохом – но неважно, быстро ли она лепечет и глубоко ли дышит, паника ее уже одолела: Сейчас упаду в обморок, думает она, а потом меня вознесет в небо, и чертова ночнушка сползет до плеч... И в последний раз меня увидят так же, как в первый: с голым задом, в ожидании шлепка.

Из какого-то прилежного и неважного уголка мозга ползет-выползает такая паучья мысль: *Великий комплекс ассоциаций, необходимых для исцеления травмы, утратил свою силу...*

И когда мысль прячется в щелку внутри нее, Элейн оказывается в том, что они называют передней комнатой, и в тысячный раз думает: называли бы салоном, если бы могли поддерживать такой уровень претензий, или жилой, если бы они отказались от всех притязаний на лучшую жизнь.

Ее взгляд мечется по затасканным декорациям, внутри которых они разыгрывают свои бессмысленные сценки: вышивка бисером Билли лежит на розовом кожаном пуфе, что они таскают с собой с самого Мадисона. Элейн помнит, как его покупали в комиссионке у зоопарка, куда они с Джоном ходили смотреть барсуков – потому, что раньше еще их не видели и даже не представляли, как они выглядят, и по-

тому, что символом университета был барсук...

Выглядели они чертовски уныло в своей пустой холодной клетке – а вот пуф, который Джон затем купил, чтобы поднять ей настроение, скоро стал хранилищем его заметок теми вечерами, когда он садился работать в мягкое кресло рядом. Стал и до сих пор остается – и, всматриваясь в неразборчивый почерк, Элейн думает: как это забавно, что он уже так долго увлечен эпической поэмой, написанной триста лет тому назад, – поэмой, где повествуется о великой битве Бога и Сатаны во всем космосе за самую душу человечества, – тогда как здесь в его собственный двор... *заполз змей*.

Существа скользкие... мелкие... волосатые – быстрые и непредсказуемые в движениях. В лучшем случае действуют вслепую, в худшем – нарочно целятся в глаза, рот, волосы... *внизу*. Если метафоры – это выдумки, то *поэзия – делирий*...

Что забавно, да – но забавно в смысле “любопытно”, а не в смысле “ха-ха”.

Ха-ха! У Элейн рвется горький смех, *горький, как коровья жвачка*... бедная домашняя корова жует, прибираясь по дому.

Элейн берет бисер и убирает в красочную мексиканскую чашу, которую Джон купил ей в Покипси в тот день, когда они возвращались на машине из Нью-Йорка и у нее случился такой *crise de nerfs*², что ему пришлось остановиться на главной улице и, тоже в откровенной панике, расспрашивать

² Нервный срыв (*фр.*).

первого встречного, а потом и еще нескольких, чтобы вывести имя и адрес местного врача.

Элейн помнит, как свернулась калачиком и всхлипывала под приборной доской, с каким трудом мужу пришлось ее оттуда извлекать. Помнит она и приемную врача – которая была семейной гостиной... *уже больше одного поколения*: в углу ей отчетливо цокали языком напольные часы; на полосатых тисненых обоях висели желтеющие гравюры меццо-тинто, в облезавший ворс диванной бархатной обшивки вплелась кошачья шерсть. Это ее успокоило: чтобы вылечить распущенную бабу, нужен муж такой же неряхи.

Когда через несколько минут вошел врач, прервав свой обед и аккуратно утирая пухлые руки льняной салфеткой с монограммой, он уже начал нравиться Элейн. Звали его Розенблум...

...и она, съездившись всем высоким телом в маленькое кожаное кресло, прорыдала обо всем – вскидывала к нему страшное лицо от своих страшных кулачков, рвала свои страшные каштановые кудри, – пока врач не взял ее за руки твердо, но с силой, и... *я разом сдулась*.

Там гоняли мяч дети на пустой площадке за домом – впечатляющей старинной машиной: флероны и флюгер-петушок поверх башенок поверх эркеров поверх веранд. В любое другое время Элейн бы отколола остроту в духе, скажем: Добрый народ Покипси явно болен, раз готов вам платить, – но явно не настолько болен, раз может платить столько!..

Как и говорят люди, когда они нормальны и нормально общаются.

Элейн помнит, как под открытым окном хрипел стерилизатор, пуская облачка пара, которые мешались с детскими криками. Когда доктор Розенблюм закатил рукав ее блузки, чтобы сделать укол, Элейн вновь сомлела от нежности его прикосновения.

Он начал: Вы регулярно принимаете милтаун, верно, миссис Хэнкок? В таком случае вам, пожалуй, лучше отложить его на денек-другой – это довольно сильное средство...

Успокоенная, убаюканная, Элейн плелась позади мужа, пока они подыскивали какой-нибудь сувенир в память об этом странном случае: *Красно-желтая мексиканская чаша? О, мои родители покупали такую же в честь завершения истерического припадка моей мамы...*

Прием доктора Розенблюма обошелся в четыре доллара, чаша – еще в два пятьдесят. После пары чашек кофе с сэндвичами незапланированная остановка стоила им около десяти долларов... *и мы, как водится, не могли себе этого позволить*, и поэтому, вернувшись в “бьюик”, Джон рявкнул:

В следующий раз бери чертовы таблетки с собой, поняла?

Стоя в их гостиной полтора года спустя, Элейн смотрит на лежащий в чаше нанизанный бисер сына и горько размышляет: У меня ничем не выдающаяся семья, и сомневаюсь, что сама смогу чем-то отличиться. А родители – все лишние силы, какие у них оставались, расходовались на стирание сво-

их отличий вместе с еврейским наследием – прямо как когда домохозяйка берется за гадкие бурые пятна в чертовой кастрюле...

Гадкие бурые пятна в кастрюле. На кухне ждут кастрюли – те самые, с гадкими бурыми пятнами. А еще миски с кукурузными хлопьями, зацементированными сахаром, – и не будем забывать о кофейных чашках с засохшей вонючей гущей. Это что, проклятье? – думает Элейн – и потом, после недолгих подсчетов: Если и проклятье, то еще слишком рано... *для красных гадких пятен в медицинском лотке.*

Откуда-то выходит с важным видом кошка Карма – Элейн даже в панике видит неотъемлемую красоту животного. Ведь в том-то и суть, верно же: Элейн видит, но как ее описать? Как описать что угодно, кроме самой себя, что ей уже осточертела?

Кошка – маленькая и пестрая и четко выгравирована в солнечном свете осеннего утра, что падает под пологим углом из восточного окна: можно различить каждый волосок. *Четко выгравирована...* вот в чем вечная беда Элейн: может ввернуть красное словцо не хуже, чем отколоть остроту, но сложить эти фразочки в сладкозвучную прозу ей уже не по силам: стоит только сесть с пером в руке – и не иначе как некий призрачный коллега доктора Розенблюма накачивает ее мозг новокаином, и все тут же делается оцепенелым и нелепым лепетом.

Мало того, вдобавок между саднящими глазами и стра-

нищей плывут нелепые сцены из детства, высмеивающие ее претензии: в возрасте двух лет... *или трех* Элейн взяла в привычку устраивать жидкие протесты: поднимать лоскутный коврик у себя в спальне и писать под него. И кажется, делала она так часто; полное безумие. Хотя, разумеется, это в прошлом... *теперь это работа Кармы*... и, может, котенка.

Они так наладились на посиделках у Хаксакеров в субботу вечером, что легли в постель с давней полупустой бутылкой вина, месяцами пылившейся в углу чулана. Наутро ее опрокинула босая нога Элейн в поисках тапочка, и остатки разлились под кроватью. Когда она встала на четвереньки, чтобы оттереть лужу, нашла там же скопление кошачьих какашек – ровно посередине, словно коварная сучка нарочно решила доказать, как плохо хозяйка следит за домом.

Ночью Элейн выкрикнула имя Теда – и той же ночью при ее хмельном и онемелом соучастии ее взял Джон, – но первое случилось не из-за последнего. Она слишком наладилась для притворства – а было бы притворством делать вид, будто ее до того состояния довели его ласки. Нет, оргазма не было – и нет никогда: лишь примитивное животное облегчение.

А что тут дурного? Они животные – и им нужно облегчение, и они наловчились если не ублажать друг друга, то хотя бы приносить этот драгоценный дар. Были и ссоры, и свары, сцементированные вместе пререканиями такими непрерывными, что они текут потоком; зато, думает Элейн, они неплохо держатся вместе – и кто знает? Без настоящих из-

мен, не считая ее и Теда, они смогут продолжить в том же духе – ради Билли, если не ради себя.

Впрочем, то была дневная мудрость: во сне она предавала и себя, и мужа – который уже сидел на кровати, когда она вернулась, смыв в унитаз какашки Кармы. Сидел и натягивал майку, чем показывал, что распушен так же, как... я. Пижаменные штаны надевает в каком угодно состоянии, но о своей верхней половине не беспокоится. А ведь она была небрита, неприятно воняла потом и еще неприятнее – перегаром, но в то же время излучала лукавое удовлетворение – от того, что он рассказал ей о ее... *непроизвольном возгласе*.

Элейн знает, что само существование Теда для него унизительно не меньше страсти Элейн к Теду. Она предполагает, то, что Джон приналег на выпивку и перестал следить за собой, – это все часть некоего его идеала рабочего класса: маска мужика, в которой он покажется больше и круче Теда, – и этим же объясняется, почему он трахался, расстегнув только ширинку своей пижамы. А это, в свою очередь, объясняет, почему она не заметила никакого пыла – хоть и сама напилась, – а лишь желание вести себя по-рабочему: *достать прибор – вставить...* В конце концов, для работы вполне логично использовать... *прибор* – или любой другой инструмент для трудов по дому, что *он обычно очень любит...*

Далеко не в первый раз, представляя себя лишь вместилищем для мужа, Элейн сначала содрогается, а потом рассыпается: дает ногам подломиться и падает коленями на пуф. Ви-

дит себя саму со вставшим пенисом, который поливает бежевые стены гостиной непристойностями: *жопа, говно, хрен, манда...* потому что только эти слова... *я могу дать свободно.*

Стоит ей закончить все необходимые приготовления – определиться с идеей, составить план повествования, набросать портреты персонажей, а также собрать все необходимые материалы – ручки и карандаши, блокнот и пишущую машинку, бумагу и копирку, – стоит ей начать, как все безнадежно заволакивает туман, словно ей в глаза и в комнату накачивают густой дым или газ, и незамазанная страница вымарывается из сознания.

А если упереться? Нет лучше слов описать, как никчемны и банальны ее пробы пера... *чем мои собственные.* Только на прошлой неделе она пыталась вновь, начала рассказ о девушке, закрутившей на Манхэттене роман с таинственным незнакомцем ... Но, перечитав первую пару страниц, пришла в ужас: рассказ хуже чем банален – в нем и сюжета толком не было, лишь слабое указание на ее собственное... *прошрое, жалкое и жалобное.*

До того, где-то месяц назад, ее переполнила смелость написать что-нибудь на основе биографии композитора Телемана, потому что она услышала его великолепное произведение по радио WQXR. Но что Элейн знала о Телемане или его времени? Ровным счетом ничего – и теперь, вспоминая, какая глупая каша у нее получилась из описания Гамбурга

XIX века, она думает: Почему же я не зашла дальше и не описала, как он *трахается, не снимая пижамы...*

Глупая каша? Нет: выкидыш – да такой, что несчастная корова мутно смотрит на зародыш и послед, слипшиеся вместе... *в луговой траве*. Вот о чем, пожалуй, надо было писать – по крайней мере, это скорбное зрелище она видела своими глазами. Тем летом на востоке Ямайки, где они жили у Кена Дюранта, когда они с Джоном по очереди шептались со старшим мужчиной – хоть и на разные темы.

В самый жаркий день августа Дюрант взял ее с собой, чтобы осмотреть заросший участок и развалюхи, которые он подумывал переделать в летний лагерь для малолетних преступников из бостонских трущоб. Элейн стояла, чувствуя, как меж бедер стекает пот, и сложив руки на груди, чтобы спрятать темные пятна, расползающиеся из-под мышек по красному гринсбону блузки, и была уверена как никогда, что он вот-вот полезет к ней, – но этого так и не случилось.

Он просто стоял в светло-коричневой траве по колено, а у шеи и подмышек его собственной пропотевшей футболки порхали живые кружева капустниц. Стоял неподвижно – несмотря на стаи мух, ведь всего в нескольких шагах от них, *на ледящем жаре солнца*, были корова с ее выкидышем. Кен объяснял, как это необычно для скота – выкинуть в такое время года, а Элейн думала: *Бедная корова*.

Лето в любом случае выдалось для Хэнкоков необычным:

Элейн распирало от разнообразных невоплощенных страстей, что находили на нее внезапно и ощущались физически – коликами *у меня в животе... в груди...* Билли тогда был белобрысым двухлетним мальчишкой, гибким, как обезьянка, и нескончаемыми душными днями лежал рядом с ней на том диване, где всего восемь месяцев назад скончалась Женестьева Таггард³, и слушал с ней встречи-саммиты двух держав в соседней комнате – Джона и Кена.

Они говорили – весьма выпренно – о том, что можно говорить, а что – писать в нынешние времена, когда лица американских активистов топчут сапогами. Даже тогда – и даже в беседах с таким человеком, как Дюрант, намного старше, намного мудрее, – тон Джона, который Элейн улавливает с идеальным слухом – *хоть я, подобно Телеману, самоучка*, – был едким, едва ли не насмешливым. Хоть и маскировался его озадаченным и любопытным выражением лица – которое его жена тоже знала... *слишком хорошо*.

Билли было почти невозможно уложить. Он все возился у нее в руках, вырывался, чтобы пронзить ее своими глазами – голубее голубого. Потом однажды днем, когда он наконец провалился в беспокойный сон, она высвободилась из него, отлепилась от кожаной шкуры старой лежанки и достала матерчатую сумку, спрятанную на книжной полке за рядом городских справочников, – ведь раньше там был кабинет Же-

³ Женестьева Таггард (1894–1948) – американская поэтесса, критик и общественный деятель с социалистическими убеждениями.

невьевы.

Она делала вид... *я делала вид*, будто содержимое сумки – эти скучные, коричневые тетради упражнений в твердых обложках – *принадлежало ей*... покойной жене их хозяйина; знаменитой поэтессе. Затем, вцепившись в этот кладезь сочинений, ее посмертная гостья тихонько и босоного ушла наверх, в закрытую и затхлую спальню, где на подоконниках лежали лапками кверху дохлые мухи. Стоя на коленях на теплых половицах перед стылым камином с железной решеткой, Элейн сначала рвала, а потом бросала в маленькое трепещущее пламя, которое она разожгла, страницу за страницей, исписанные ее собственным слитным почерком, стараясь удержать ту самую иллюзию – а с ней и веру, будто, уничтожая записи о юности и первых годах женственности, Элейн каким-то образом высвободит собственную музу...

Но правда в том... *что я была растрепана внутри*. Растрепана и поражена этим осознанием – не особенно оригинальным, но все вращавшимся вокруг нее; тем жужжащим настоящим, что *человек есть лишь собрание бунтующих "я"*, чье единство – если есть вообще такое – благодаря одной только коже и, возможно, органу этому, одновременно и толстому, и тонкому, гладкому и сухому на ощупь, – и все же органу, какой целиком можно низвести... *в кварту с лишком желтоватого жира*. Кожа... *то, в чем мы все живем*... поскольку носим комбинезоны... *сделанные из нас самих*.

Порой, перепечатывая рукописи Джона – он их невыно-

симым образом пишет карандашом, – Элейн берет ручку и обводит очертания его слов, и тогда кажется, будто на ней перчатки из кожи, содранной с его рук, будто извращенным поступком этим она подчиняет себе его авторское существо; уже не он сочинил сей блестящий очерк, где “Ареопагитика” сопоставлена с общественным договором Руссо, но я...

Таким “я” был тот теленок-выкидыш, точно как *нежизнеспособные* тексты Элейн... как мог бы сказать об эмбрионе акушер. Тогда как поэзия Женестьева была иного порядка: она выдавала на-гора новые “я” десятилетиями: они выходили в маленьких журнальчиках и больших альманахах, в собраниях сочинений, а порой и в престижных антологиях. Давеча несколько таких ее “я” собрала в своих пыльных объездах Библиотека Конгресса. Там они еще перешептывались на тихих полках: *Над тобой, над тобой, над тобой... Я нависаю любовью, волной...*⁴

Или хотя бы несколько – были и другие Женестьева, которые, когда Элейн сжигала свои девчачьи дневники с паршивыми виршами, кричали громко и четко: Что ты делаешь у меня дома? И с моим мужем?

Вопросы совершенно справедливые, хоть и истошные – ведь она не только спала со своим сыном на диване Женестьева, но и стряпала на ее кухне, а со смерти поэтессы не прошло и года – хотя... *в последние месяцы она все равно что уже покинула нас*, сказал на том отравленном выгоне

⁴ Женестьева Таггард “Маленький Гамлет” (1922).

вдовец, глядя на выкидыш в рюшах мух... *отвернулась от всего в мире, включая меня.*

Как казалось Элейн, Дюрант в лучшем случае не прибавил в этот оборот искренность, а в худшем – *хотел взять в оборот ее...* не то чтобы ему требовалось брать, если она была готова отдаться, ведь Кен был из тех чокнутых, трудных парней, кому Элейн всегда было чрезвычайно сложно – а то и невозможно – противиться. И в тот долгий жаркий день она плелась за ним, пока он катал ее туда-сюда на своем “универсале”, безразличный к ее присутствию, словно доставлял не ее, а автомобиль.

Семь лет спустя, неподвижно стоя в своей гостиной, Элейн, смакуя свое *пропадающее настроение*, незряче смотрит на скучный книжный шкаф, набитый этим – по большей части – бесплодным собранием: сборники стихов ее и Джона, каждая книга – *нога*, втиснутая меж сластолюбивых соседок. Смотрит незряче, вспоминая все другие мелочные “я”, что отправлялись на смерть в камине Дюрантов.

Хотя бы в одном отношении Элейн – неоспоримая писательница, ведь она одержимо пишет дневники – и даже та ужасная чистка не исцелила ее от привычки: уже через несколько дней она начала заново, призывала еще больше “я” – вразброс описывая правду о своих бурных чувствах, не трудясь облачать их в рифму или обучать ритму.

И вот за месяцы и годы народилась целая непослушная

компания “я” – десятки... сотни маленьких Элейн, выстроенных во времени, как отражения стоящих друг напротив друга зеркал выстроены в пространстве, а следовательно: бесконечные Элейн, и все влюбляются в трудных, чокнутых парней – и все отвержены, но по-прежнему преследуют, пока те пытаются высвободиться из ее хватки. Теперь она борется с новыми страстями – лишь игрой теней, если учесть пропорцию касаний с воображаемыми касаниями. Да – представляет себя круглой дурочкой еще больше обычного.

Сколько же их семейная тройка столовалась у Дюрантов тем летом? Казалось, что месяцами – а на деле не может быть и нескольких недель. Недель, когда Джон трудился над статьей – что, убедил он ее, станет важным шагом к его званию серьезного критика, – а его жена гонялась за вдовцом покойной поэтессы и сравнивала себя... *с миллионом отражений красоты и чудесности Женеьевы.*

На рабочем столе Кена стоял большой студийный портрет молодой Женеьевы в серебряной рамочке – сделанный, когда она не могла быть много старше Элейн, в 1947-м. Несмотря на платье прямого кроя и прическу-абажур, молодая Женеьева выглядела одновременно стройной, цветущей... *и умной.* Элейн – которая видела ее лишь раз и которая, почти не сталкивалась со смертью, – не верилось, что та воистину, безвозвратно ушла, если от нее осталось так много следов – вплоть до книги рукописных рецептов, висящей на крючке у старомодной плиты.

И ведь Кен не жалел подробностей – не раз в подпитии отмечал, что, по мере того как истощалось ее тело, ее некогда красивое лицо сначала огрубело – потом ужасно распухло. Как будто, говорил он, сам ее организм говорил... *из этого поэзии не сделаешь.*

Сраженный горем – или нет, скорбящий – или нет, – вдовец подыскал себе любовницу в считанные недели – а может, она поджидала уже давно. Однажды она приезжала в Вермонт. Очень женственная, подумалось тогда Элейн: Сразу и претенциозная, и инфантильная – я бы никогда не смогла исполнить ее роль для него – не больше, чем могла бы исполнить роль Женевиэвы... Хотя весной того года воображала, что могла, когда Кеннет писал ей, говорил, что едет в Нью-Йорк – и... *Я прождала весь день*, фантазируя, как он будет заниматься с ней любовью: с наивысшей нежностью, на том самом красном пледе, где свернулся в свой дневной тихий час Билли.

Но он не приехал – и даже не позвонил. При новой встрече – когда она застала его одного, – у него нашлось прекрасное оправдание: незапланированный визит в больницу... Она же понимала всю *тяжесть положения?*

Все еще стоя – но теперь глядя в окно, за дорогу, на заросший участок по ту сторону ее, – Элейн останавливается – прекращает делать что делала, и осознает, что сжимает тот самый плед в дрожащих руках. Откуда дрожь? Из-за лихора-

дочного перепада от бесстыжей похоти к ледящему кровь стыду – или же к ней подкрадывается настоящая болезнь, пробираясь между одной невыносимой мыслью... *и другой*: во рту стоит знакомый солоноватый привкус, и она чувствует, как венка на лбу... *все бьется... бьется...*

А на следующий день, когда он возил ее на запущенный выгон, что он тогда ей сказал? Фу. Фу и еще раз фу – как можно было довести себя до положения, когда любой, какой угодно мужчина мог ей сказать: *Я был готов тебя взять, но теперь вижу, что ты никчемна...*

Да, стыд, холодный как лед, такой холодный, что толкнул ее сжечь сначала все дневники тех времен, когда Джон служил за границей... *а потом и остальные*. В своем отчаянии она верила, что читаема от начала до конца: книга с прозрачной обложкой, через которую страшным образом проглядывают все подробности ее измен: страница за страницей невротических излияний о Джо... об Арти... И вдобавок откровенные наброски о начальнике ньюаркского завода, в котором она вовсе не видела ухажера, пока тот не прижал ее к гофрированной стенке куонсетского ангара⁵, в котором держали предохранители и лампочки, и, задрав ей юбку, схватил за вульву, потянул пальцами за эластичный пояс так, что тот отклеился от вспотевшей кожи, а потом... *щелкнул об-*

⁵ Куонсетский ангар – легкая модульная постройка из гофрированного железа, в форме полуцилиндра. Применялась США во всем мире во время войны, после чего армия продавала остатки со складов гражданскому сектору.

ратно.

И происходило это снова... *снова и снова.*

Она рвала со спирали по две-три страницы, потом аккуратно комкала и выкладывала хрусткие шарики поверх бархатистого, лепесткового пепла их предшественников. Множество сожжений – множество самоубийств... Если бы она выбрала второе и если бы оставила все эти красочные описания своего отчаяния, стало бы скверно Джону? Ее родителям? Скорее всего, нет – ведь, если быть до конца честной, в них *просвечивала* жалость к себе... И сейчас, так же когда она вспоминает о тетрадах, которыми их заменила: очередная болтовня о всеобщей паршивости человеческого рода и ее разочаровании в нем.

Как часто она видела себя расprostертой на койке в свободной комнате – незваная гостя... *на целую вечность*, на прикроватной тумбочке опустошенные от пилюль флаконы, стопка тетрадей на спирали, а поверх всего записка с извинениями, разумеется, и с указаниями Джону послать тетради доктору Фрейденбергу, который *так решительно меня отверг*... Правда ли Элейн верит, что они пригодятся при целении других несчастных измученных душ? Или это ее способ продлить свой психоанализ навсегда – призрак в углу приемной... *донимающий его совесть?*

На востоке Ямайки, в большом и скрипучем колониальном особняке, ее мотивы были такими же дурацкими: как будто, сжигая дневники, она заодно избавит себя от всей ви-

ны... и всех иллюзий. Впредь – к добру или худу – жить ей в холодном свете своего разума. В деревянной коробке дома отдавались эхом пыльные голоса мужчин. О чем там говорили Кеннет и Джон? Да все о том же, что обсуждали Тед и Джон прошлой субботой у Хаксакеров, где серьезный шепот скрывал их от других гостей – или так они думали.

Почему они так за нее цепляются, за эту свою возвышенную, насмешливую, шаблонную философию? Наверняка только потому, что она подкрепляет чувство их собственного превосходства... А еще потому, что благодаря ей можно вместе *посидеть* – как они сидят у реки или на лодке Теда, в ожидании клева *или откровения*. Ведь так делают мужчины даже вроде них – самодовольных, возвышенных, а прежде всего умных, – вместо того чтобы напрямую высказать, что у них на душе.

Внезапно Элейн понимает это со всей уверенностью: несмотря на все беседы их нестройного квартета – искусственные, едва ли не удушающие, – касательно их положения, и несмотря на все часы за разговорами, писательством и намеками, а потом новыми разговорами о многосложных намеках, всех со всеми... а знает бог, она все еще разговаривает с Джоном при всех их ужасных оплошностях, при том как они подводят друг друга, причем разговоры их глубокие, кажется ей, честные в признании того, как их обманы и разочарования все-таки предвещают уважение – не дежурное, а заслуженное... Так вот, теперь она постигает с вели-

кой и ужасной ясностью, так же как постигает оттенок деревянной отделки в комнате – бежевый, словно у медицинских чулок, претивший ей каждый день вот уже четыре полных года проживания здесь, – постигает, что ни один мужчина ни разу не молвил другому ни слова о всепоглощающей страсти Элейн к Теду.

Это наверняка очередное блестящее решение ее мужа – да и Теда, раз уж на то пошло. Но разве он сам не был так же неверен своему возлюбленному пролетариату, как она – ему? Можно ли это вообще назвать неверностью в ее случае? С неуклюжим Джо они занимались скорее взаимными мучениями, чем любовью, хотя, когда состоялось последнее – что ж... Тебя возносят на небеса, думает Элейн, только чтобы ты тосковала о возвращении: Что же удивительного, что она так хранит сокровенные воспоминания о его скромной комнатухе и обо всем том великолепном, чем они занимались там вдвоем?

Тогда как с Арти был превосходный, пусть и несколько дежурный секс – Элейн все еще ощущает его вес на внутренних сторонах бедер, чувствует, как с гарью сбежавшего кофе переплетается запах его одеколona... Так как же она может быть неверной Джону, если для этого сначала надо быть верной, какой... *я не была никогда.*

У нее вырывается стон – гортанный, коровий. Она встряхивает плед и, накинув себе на плечи, чуть не поддается дурноте... головокружению... и самоубийственным мыслям

– их неизбежным аккомпаниаторам: ведь если чувствуешь под ногами разверстый зев бездны, то лишь потому, что хочешь... *ее заполнить*.

Какое невероятное требуется усилие воли, думает она: Оторваться от края пропасти, отвернуться от возвышенного... *к нелепому*: сегодня Джон оставил ей “бьюик”, потому что в кампус его подвез Тед, а ей надо отвезти котенка Майю – которая, как подозревает Элейн, может оказаться не такой... *какой кажется*, – к ветеринару на подтверждение. Заодно можно побаловать себя кофе и сэндвичем с курицей в “Браш энд пэлэт” – возможно, полюбоваться на витрины “Ротшильдс”, – если, конечно, закончит со всеми делами по дому.

А вдобавок к ежедневному мытью и уборке, кроватям и посуде накопилось *сглаживание* после двух стирок – и, кто знает, быть может, сегодня Элейн наконец-то опустошит шкафчик под раковиной и протрет закопченные полки. Она себе это обещала... *обещала, вашу мать*. Но сначала... она заново складывает плед, укладывает на диван, откуда убирает журнал Билли – “Мэд”... *чтобы я – волновалась?* Ее смех раскатистый – и горький, как... *сбежавший кофе*, чей вкус она чувствует где-то у себя в горле.

Она и правда волнуется – волнуется все о том же, о чем и на востоке Ямайки: что Джон найдет ее тайник и прочтет все

⁶ *Mad* – американский сатирический журнал, основанный в 1952 г. Известен своим бунтарским и ироничным настроением.

стопки *девичьих дуристей* – пускай кривоватых и кокетливых, но она старательно выписала подробности все до единой встречи ее и Теда – даже те, что имели место... *в фантазии*. Выписала с такими тщанием и верностью к детали, что хотя бы этот ее персонаж так и сходит живым со страницы.

Почему ее так возбуждают письменные подтверждения того, что, как она знает, он и так знает? Но все же возбуждают: сердце бьется так, что трепещет в груди. Он прежде всего ученый, читатель, исследователь текстов – порой Элейн задается вопросом: верит ли он вообще собственным чувствам?

Но это и хорошо, и к лучшему: ведь Тед – это реальный, живой мужчина: высокий, спортивный, с уродливо-красивым лицом, с темными нависающими бровями и сильными квадратными ладонями, обросшими таким же черным волосом, что у него на голове, – хотя и, слава богу... *не так густо*. Быть может, из нее никудышная писательница – одна из самых никудышных в истории, – и все-таки в этот долгий и иступленный год черкания исподтишка она превзошла себя. Описание его зычного голоса и наречия Среднего Запада, его – если застичь врасплох – недоуменного, мальчишеского выражения лица, его ауры подавленного – но мощного – сексуального влечения затронуло ее единственную читательницу: не раз Элейн отбрасывала ручку и тетрадь и... *ублажала себя*.

Что все-таки звучит лучше – пусть и пошлее, – чем... *ма-*

стурбация. Тед бы назвал эту мысль просто-напросто намеренной слепотой, а не предубеждением, – но, когда в январе Элейн писала доктору Фрейденбергу и рассказала, что происходит – что она втюрилась в очередного чокнутого мозговитого мужика, – она призналась и в этом и назвала именно тем формальным термином, который предпочитал психоаналитик.

Почему? Почему доктор Фрейденберг по-прежнему оказывает на Элейн такое влияние? Обращаясь к нему месяцы спустя после того, как прекратились еженедельные паломничества в его скучный кабинетик, который он снимает в непримечательном доме в центре Сиракьюса, Элейн переносилась в прошлое, где почти полтора года силилась объяснить ему правду. А может, как и с мыслью о том, чтобы избавиться от всех своих дневников, хватало уже проговорить про себя слоги его имени – *Фрей-ден-берг*, – чтобы он сам вошел и сел с блокнотом и ручкой на колене вельветовых брюк...

...тем самым призывая – поскольку она сомневалась в его предполагаемом уме или латентной чокнутости – самые разные признания: я писала под ковер, когда мне было... не знаю... года два-три... а теперь, в тридцать четыре, я мастурбирую из-за коллеги моего мужа, и у меня... *обвисают груди, редуют и так жидкие волосы...*

...тебе никогда не быть стройной девочкой, твердила Элейн ее стройная мать *миллиард раз...* почти бесконечные

повторы в раздражении из-за единственной дочери, и они, чем старше и выше становилась Элейн, сменились с еще полных надежды вздохов на бурчанье мрачной уверенности. В четырнадцать Элейн достигла своего взрослого роста – пять футов десять дюймов: отныне она была не высокой, а долговязой, ведь ее плечи навечно ссутулились, ее сколиоз стал итогом того, что она постоянно гнулась под растущим ветром общественного неодобрения.

Одно дело – быть высокой, еще хуже – неловкой, но быть к тому же и нескладной, и чтобы нос торчал на ее *страшной роже*, как комок глины?.. Ей казалось, в семнадцать она походила на своего отца, нацепившего спортивное платье, – отца, этого и так уцененного Граучо⁷ (потому что без нарисованных усов), который все время хохмил, оставаясь при этом, попросту говоря... *вульгарным и несмешным*.

Фрейденберг ответил на письмо, на вкус Элейн, слишком уклончиво – *к моей досаде*: Сначала успокоил – очевидно, из вежливости: нет, он не считает, что она на грани; потом высказался честно: нет, он не думает, что им стоит возобновлять сеансы – нет никаких сомнений, что они уже добились прогресса... *одиозное,отягощающее выражение!* но на его взгляд, она вышла на плато – или зашла в тупик, – которые далее ей предстоит преодолевать другим способом. К тому же ее обычное время посещения, в среду во второй полови-

⁷ Джулиус “Граучо” Маркс (1890–1977) – американский комик, известный своим образом с очками, большим носом, усами и сигарой.

не дня, давно занял другой пациент. Если она в отчаянии, тогда да, он, разумеется, примет ее и продолжит принимать по необходимости, но если она хочет вернуться к психоанализу...

...то, что ж, область психоанализа, значительно отброшенная назад во время войны, теперь – что довольно иронично благодаря войне – развивается полным ходом – в том, что касается и образования экспертов, и интереса пациентов...

...Собственно, он уже далеко не единственный практикующий психоаналитик в Сиракьюсе – как было во времена, когда Элейн обратилась к нему впервые, – он знает еще двоих, бросивших якорь в Итаке, причем один из специалистов – и вот тут он сильнее всего раскрывал свои карты, как считала Элейн, – это женщина.

Читая этот эгоистичный отказ, Элейн гадала – как гадают и сейчас, – скажет ли сей странный зверь, женщина-психолог, то же, что и доктор Фрейденоберг: что ее неспособность писать – это очередной пример *всепоглощающей зависти*: фаллическая форма ручки и прочее, понимаете?

Под журналом “Мэд” лежит местная газета, на Элейн смотрит реклама, и она наклоняется к ней... *почему сейчас все кажется так далеко?..* Зимние костюмы из трех предметов для девочек: 3,90 доллара. Из двух предметов – для мальчиков: 2,90. Не очередной ли это повод для зависти – к простому и дешевому облачению самцов, к отсутствию не

только украшений, но и самой потребности в них?

Чуть потрясенная, Элейн возвращается мыслями к Теду: мешковатый полосатый костюм из жатки, который он носил все лето и который наверняка возьмет с собой в поездку на Кубу. Бетти говорила Элейн, что нарочно не собирает чемодан за него – эту унижительную обязанность исполняют только жены в кино. И часто в ответ на подобные замечания Элейн внутренне корчилась, думая: что бы там между ними с Джоном ни было, но она все еще собирает чемодан для Джона – да и что в этом такого? Вдруг это поможет – если поможет еще хоть что-то – поставить заново некое кино их близости?

Тед вдруг озвучил эту идею зимнего отпуска, пока дотлевали последние угольки посиделок у Хаксакеров... *в нашем бурбонном дыхании*, и тем вновь разжег в сердце Элейн теплящуюся надежду: В таком случае давайте мы опять возьмем Стеллу к себе – нам так с ней нравится...

...выпала Элейн – потом ее мутный взгляд прояснился, и она увидела на лице Джона выражение послушного подчинения. Это маска, знает она, под которой горит его собственный внутренний пожар: ведь вор просто ограбит и заберет все, что имеешь, но *лживый возлюбленный заведет в могилу*... какой устрашающий норов! у нас обоих – и мы все время ссоримся... не считая случаев, когда я для этого слишком уставшая.

У них, мастеров словесной пикировки, ссоры развива-

лись, как fuga, когда высота вопросов и ответов нарастала до полномасштабных воплей, что не в одном постыдном случае заканчивались рукоприкладством. Но о таких вещах Элейн не хочется задумываться – не этим утром, когда с самого пробуждения кажется, будто все *наполовину пропало...* Реальное отсутствие, будто вдруг испарились половина сетчатой двери, половина боковой, половина почтового ящика, половина чертового мира.

Элейн задвигает поглубже в мысленную мешанину свои неприятности с мужем – как и несмолкающие репортажи об испытательном взрыве первой водородной бомбы Советского Союза. Ведь одно она знает точно: ее мировоззрение параллельно ее самоощущению – все вот-вот рванет в любой миг... *и я тоже на грани распада.*

Теперь тарелки в раковине, перед которыми она просительно стоит, кажутся погруженными не просто в холодную маслянистую воду, но и в нижний мир. Тот самый, что она видит, когда с самой реальности срывают поверхность – и изливаются головокружение, необоримая тошнота и острая головная боль во всей своей калейдоскопической красе. На это – на верный знак приближения ее ежемесячной мигрени – Элейн тоже не обращает внимания, как поступает часто, забывая, что забвение никогда не помогает.

Она идет по голым дубовым ступеням узкой лестницы, что круто поднимается из небольшого коридора, и прислушивается к знакомому *скрипучему концерту...* пока вокруг

потягивается и напрягается старый деревянный дом. В Итаке найдутся самые разные постройки – от современных ранчо до узорных фантазий на готическую тему, как и сохранившаяся солидная колониальная архитектура. И раскрашены они во все цвета радуги: ржаво-красные, лазурно-голубые, одуванчиково-желтые. Но дом Хэнкоков довольно неказист – половина “солонки”⁸ грязно-бежевого цвета, фронтоном на улицу, с одноэтажной пристройкой сзади – с проволочными экранами вместо стен и бетонным полом, где хранится всякий хлам, от старой коляски Билли до пары полениц дров на случай, если выйдет весь уголь для печи.

На верхней площадке Элейн не поднимает глаз – да, всего четверть часа назад она выходила проверить почтовый ящик, но с тех пор свершилось что-то разом незначительное и роковое: если только поднять взгляд, она увидит за открытой дверью спальню Билли, а за окном без штор... *ничего*; только те невидимые элементы, которые, сжатые вместе в ужасную мешанину, могут разлететься с мощностью миллиона тонн в тротиловом эквиваленте... *или больше*.

Это она знает, поскольку Билли обожает и такие уравнения: сила одного супергероя против сил другого, этого взрыва против того. Один миллион, два миллиона, три миллиона... нет предела размеру бомб, что производят теперь, когда тлеет холодная война. Когда неутомимый Билли топает

⁸ Дома-“солонки” – тип строений, характерный для Новой Англии XVII и XVIII веков.

по дому, колотя в свой старый жестяной барабан и распевая: Один миллион, два миллиона, три миллиона... да хоть галлонов, хоть килотонн, – матери хочется дать ему по губам, и уже не раз... и не два... *так я и делала.*

Это так ужасно несправедливо – и вредно, знает она сама. Билли страдает от тех же тревог, что и она, а его барабанный бой – наверняка просто его единственный метод забить тревогу обратно в подсознание. А тревожность Элейн детонируется в судорожном выпаде, синтезе *руки и щеки*... Элейн плетется с тяжелым и красным от стыда лицом по коридору к спальне, которую делит – *едва* – с Джоном.

Там она плетется к бюро, где держит свой нынешний дневник: в ящике с нижним бельем, ниже нижнего белья. Если она и поносит пуританский фасад ее мужа – что и делает, находя неисчерпаемое раздражение в том, как он поджигает губы... и тупит целомудренный взгляд, – то есть хотя бы одно преимущество: невозможно и вообразить, чтобы Джон хотя бы заглянул в ящик, не то что шарился в нем.

Остальные дневники уже заполнили ее старый сундук на чердаке – бок о бок со старыми студенческими учебниками и дырявым вязанием, которое она обещает себе подлатать... *целую вечность.* Элейн видит бок о бок светлый сосновый грибок для шитья – и клубящееся облако, *мерцающее внутри.* Опускает штору, оставляя щель всего в несколько дюймов, через которую проникает зимний свет. Сев на кровать, открывает тетрадь на спирали, на странице, полной...

...спиралей и кружочков, сплетающихся в узоры: одни закрашены, другие преобразены как-либо еще. Вот эти кривые арабески напоминают рассеянные вариации на Матисса и Миро, растут из предложений, словно выюн, стараясь задуть списки покупок и дел – а также гостей на званый вечер, как реальных, так и... *идеальных*.

Фантазия принимает постыдный окрас, когда она листает несколько страниц назад и находит множество проб собственной подписи: Элейн Хэнкок, Элейн Хэнкок, Элейн Хэнкок... вперемешку с именами для еще нерожденных дочерей: Летиция Хэнкок, Леттис Хэнкок, Лалаж Хэнкок, Люси Хэнкок, Лиза Хэнкок... *и это только на “эл”!*

Хуже того: страницы до этого словесного потомства испещрены печатями недостигнутого и невозможного союза: Элейн Тропман, миссис Элейн Тропман, Элейн и Эдвард Тропман... миссис Эдвард Тропман. Недостигнутого – и невоплощенного. Что именно длится между ними уже год – двенадцать полных месяцев пьяной возни и хмельных поцелуев? Элейн припоминает, что Тропманы вошли в их круг приблизительно в то же время, когда его самые раскованные члены подхватили новое веяние: мужья целовались с чужими женами, а те чужие жены – с... что ж, с чужими мужьями.

“Целовальные” вечеринки... так они их звали – прозвище детское, конечно, только принижающее, на ее взгляд, масштаб и серьезность ее страсти. Весь этот долгий год Тед Тропман ужасно на нее давил – вернее, сам факт его существова-

ния, нежели фантомный мужчина, в кого она вселяет жизнь день за днем, ведь это о Теде она думает первым делом по пробуждении – о Теде, чью кривую улыбку видит последней перед сном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.